

Дмитрий Веневитинов

Владимир Паренский

**Веневитинов Дмитрий
Владимир Паренский**

Д.В.ВЕНЕВИТИНОВ
ВЛАДИМИР ПАРЕНСКИЙ

Три эпохи любви переживает сердце, для любви рожденное. Первая любовь чиста, как пламень; она, как пламень, на все равно светит, все равно согревает; сердце нетерпеливо рвется из тесной груди; душа просится наружу; руки все обнимают, и юноша, в первом роскошном убранстве весны своей, в первом развитии способностей, пленителен, как младое дерево в ранних листьях и цветах. Как бы ни являлась ему красота, она для него равно прекрасна. Взор его не ищет Венеры Медицейской, когда он изумляется важному зрелищу издыхающего Лаокоона. Холодные слова строгого Омира и теплые напевы чувствительного Петрарки равнозвучны в устах его, и любовница его - одна вселенная. Это - эпоха восторгов.

Настает другая. Душа упиалась; взоры устали разбегаться; им надобно успокоиться на одном предмете. Возьмется ли юноша за кисть: не древний Иосиф, не ангел-благовеститель рождается под нею, но образ чистой Марии одушевляет полотно. Счастлива пер-

вая дева, которую он встретит! Какая душа посвящает ей свои восторги!

Какою прелестью облакает ее молодое воображение! Как пламенны о ней песни! Как нежно юноша плачет! Эта эпоха - один миг, но лучший миг в жизни.

Что разочаровывает отрока, когда он разбивает им созданную игрушку? Что разочаровывает поэта, когда он предает огню первые, быть может, самые горячие стихи свои? Что заставляет юношу забыть первый идеал свой, забыть тот образ, в который он выливал всю душу? Мы недолго любим свои созданья, и природа приковывает нас к действительности. Дорого платит юноша за восторги второй любви своей. Чем более предполагал он в людях, тем мучительней для него теперь их встреча. Он молчалив и задумчив. О, если тогда на другом челе, в других очах прочтет он следы тех же чувств, если он подслушает сердце, бьющееся согласно с его сердцем, - с какою радостью подает он руку существу родному!

И как ясно понимают они друг друга! Вот третья эпоха любви:

это эпоха дум.

Во второй эпохе, счастливой, но обманчивой, жил Владимир Паренский. Отец его, один из знатнейших панов, известный голосом своим на сеймах, имел богатые владения в южной Польше. Следуя тогдашнему обыкновению, он отправил десятилетнего Владимира в немецкий город Д..., поручив его воспитание старому другу своему, доктору Фриденгейму, который через несколько лет после того сделался начальником Медицинской академии. В скором времени молодой Паренский начал оказывать большие успехи.

Шестнадцать лет вступил он в университет и был уже в состоянии следовать за такими уроками, которые требуют внимания напряженного и развитых способностей. Страсть его к познаниям не ограничивалась предметами, необходимыми для образованного человека. Он никогда не пропускал анатомических уроков своего наставника и, хотя не принадлежал к медицинскому факультету, имел, однако ж, весьма основательные понятия об этой науке. На семнадцатом году Паренский познакомился с славным Гете. Это

знакомство имело самое благодетельное влияние на образование юноши. При первом свидании Владимир не верил глазам своим.

Ему казалось невозможным, чтобы та же комната заключала его и первого поэта времен новейших, чтобы рука, написавшая величайшие произведения ума человеческого, жала его руку. Это чувство понятно не для многих, но оно сильно в тех душах, которые алкают пищи и вдруг видят перед собой расточителя небесной манны. О, если бы великие люди всегда чувствовали свою силу, когда бы они знали, что слово их - слово творческое, что оно велит быть свету, и свет будет: они, верно бы, никогда не отказывали чистому сердцу юноши в ободрительном приветствии.

Не знаем, Гете ли посвятил Паренского в таинства поэзии, или уже прежде молодое его воображение говорило стройными звуками; но несомненно то, что величественная простота Гете уже пленяла Владимира в такие лета, в которые обыкновенно предпочитают ей пламенный, всегда необузданный восторг Шиллера.

Паренский неизвестен как поэт, но гер-

манские студенты доныне твердят некоторые его стихотворения, никогда не изданные и доказывающие, что он рожден был поэтом. Десять лет пробыл он в Германии.

Однажды Паренский, по обыкновению своему, бродил без цели по дорожкам сада. Уже следы солнца бледнели на западе и месяц светил на чистом осеннем небе. Владимир не примечал перемен дня. Наконец, усталый от сильного движения, он бросился на дерновую скамью, где за несколько лет перед сим он живо чувствовал прелесть вечера, озаренного луною, и где теперь он, кажется, забывает и минувшее и настоящее. Осенний ветер, предвестник близкой ночи, шумел желтыми листьями, которыми усеяны были дороги; но ветер не мог пробудить Паренского от глубокой задумчивости или, лучше сказать, от глубокого бесчувствия. Он мрачно смотрел перед собою, но взор его был без всякой жизни, без всякого выражения. Вдруг поднял он голову, чувствуя, что кто-то склонился на плечо его.

- Давно, - сказала Бента печальному другу своему, - давно следую я за тобою, несколько раз уже пробежала по следам твоим все до-

рожки сада, и ты не заметил меня или, может быть, не хотел заметить. Для чего бежишь ты от друзей своих? Мой отец говорит, что он уже тебя почти никогда не видит, а я...

но ты опять задумчив, ты хочешь быть один, мой друг! Что может быть страшнее одиночества?

Владимир молчал, как бы не слыша дрожащего голоса Бенты, наконец взглянул на нее с видом удивленья, и две крупные слезы, блиставшие на щеках девы прекрасной, повторили ему то, чего не слышал он.

- Милая, - сказал ей тронутый Паренский, - я кажусь тебе странным, может быть, жестоким: ты счастлива, не понимая, что могут быть люди, мне подобные, в которых убито все, даже . самое чувство.

- Зачем, - воскликнула Бента, - зачем был ты на этом севере, где остыло твое сердце, где лицо твое сделалось суровым, а взор бесчувственным? Для того ли выросли мы вместе, чтобы не понимать друг друга? Кого боишься ты меня ли? Давно ли есть в твоём сердце тайны, которых я знать не должна? Давно ли знаешь ты такое горе, которого я разделить

не могу?

- Давно, - отвечал Паренский, - к несчастью, давно. Мой друг! Я не отравлю твоей жизни, не огорчу тебя несчастною повестью, которая может разочаровать тебя в твоих счастливых заблуждениях. Ты улыбаешься всему в мире - не меняй этой улыбки на змеиный смех горестной досады!

Бента не понимала слов Владимира, но он выговорил их с таким усилием, лицо его так побледнело, что она замолчала и заботливо на него смотрела.

Долго оба безмолвствовали - он от беспорядка мыслей, она от страха или, может быть, от другого чувства, еще сильнеешего.

Наконец Владимир прервал тишину:

- Друг мой! Слыхала ли ты про любовь?

- Слыхала, - отвечала вполголоса робкая девушка.

- Страшишься этого чувства.

- Отчего?

- Оно... оно меня убило. Там, на этом севере, я знал деву.

Она была так же мила, как ты; прости меня, Бента, она была тебя милее...

При этих словах Бента, которая до сих пор лежала на плече Владимира, приподнялась и отодвинулась.

- И где же теперь эта дева? - спросила она.

- Где? не знаю. Она... но у ней щеки не горели этим пурпуром, у ней сердце не билось, как твое.

Бента снова склонилась на плечо юноши.

- Если ты любил, - сказала она, - если ты любишь: можешь ли быть суровым? Чуждаться людей? Ужели она могла не любить тебя?

- Слыхала ли ты, - прервал ее Владимир, - что любовь уносит покой сердца и драгоценнейшее сокровище девы - невинность?

- Слыхала, и не верю. Нет! не могу верить...

Река слез мешала ей говорить более.

- Люби меня, и я буду добрее, - шептала она, рыдая, и бросилась на шею Паренскому.

- Оставь меня! Оставь меня! - говорил он, отталкивая деву. - Беги! ты еще невинна.

- Люби: я буду добрее, - шептал дрожащий голос.

- Беги! - закричал юноша, - ты меня не знаешь. Ты будешь проклинать меня. Я...

- Люби меня! Я твоя навеки. - Бента еще не договорила своих слов, как уже пламенные уста Владимира горели на груди ее. Они упали на скамью...

Не осуждайте их, друзья мои!., не осуждайте их... Если б мне было можно продлить ваш восторг, счастливицы! Если б мне можно было превратить эту ночь осеннюю в прелестный вечер мая, унылый свист ветра в сладостный голос соловья и окружить вас всею прелестью волшебного очарования! Но хотите ли вам другого счастья? Любовь - лучшая волшебница. В первый раз в объятиях друг друга, вам более желать нечего. О Бента! Зачем не скончала ты жизни, когда твой друг прижимал тебя так крепко к груди своей? Твое последнее дыхание было бы счастливою песнею. На земле не просыпайся, дева милая! Скоро... неверная мечта взмахнет золотыми крыльями, скоро, слишком скоро слеза восторга заменится слезою раскаяния.

- Нет! Владислав! Этого не могу простить. Подумай сам. Тебе двадцать лет, барону пятьдесят. И ты с ним связываешься! За что? за безделицу: за то, что он вырвал у тебя перчат-

ку сестры моей и отнял случай поднести ее, покраснеть и пролепетать несколько слов. Признаюсь, я служу уж второй год, три раза был секундантом и сам имел две честных разделки, а никогда не находился в таком неприятном положении. Что скажет отец мой, когда узнает завтра, чем дело кончится, узнает, что ты имел дуэль с бароном, убил его или сам убит? Гроза вся рушится на меня. Опять мне недели на три выговоров и советов.

Так говорил молодой гусар, граф Любомиров, шагая взад и вперед по комнате и досущая второй стакан пунша. Между тем Владислав сидел, поджавши руки, спиной к дверям и не слушал красноречивого проповедника. Лишь изредка, когда звенел колокольчик и кто-нибудь входил в кондитерскую, задумчивый юноша лениво поворачивал голову, вставал, раз пять без нужды снимал со свечи и колупал воск. Вдруг вынул часы, топнул с досадой ногою и прибавил вполголоса: "Четверть одиннадцатого, а его нет как нет!" Но только что он промолвил эти слова, дверь лавки застучала, колокольчик зазвенел, и в первой комнате раздался пугливый голос.

- Сюда! - закричал гусар, и маленькая шарообразная фигура вошла в гостиную. Это был Франц Лейхен, сорокалетний весельчак, приятель Любомирова, приятель Владислава и едва ли не общий приятель всей столицы.

- Я" #же начиная бранить тебя, Франц, - сказал ему Владислав, пожимая его руку.

- К чему такая нетерпеливость? - возразил Лейхен. - Ведь надобно везде успеть. Я угадал вперед. У вас, молодых людей, опять в голове пирушка, и меня, старика, туда же тащите.

- Да! У нас в голове пирушка, - продолжал холодно Владислав, - ты секундант мой.

- Не впервые мне быть твоим секундантом, - закричал с важным хохотом Франц, - не впервые! и признайся, я всегда вторил тебе славно.

- Ты секундант мой, - повторил Владислав, - завтра я дерусь с бароном.

При этих словах круглое лицо Франца начало понемногу вытягиваться, он как испуганный смотрел в глаза Владислава, наконец повесил голову и сел посреди дивана. Владислав сел против него, а Любомиров, воротясь из другой комнаты с мальчиком и еще двумя

стаканами пунша, приподвинул к столу кресла и сел доежду ними.

- Ты завтра дерешься с бароном? - спросил тихим голосом Лейхен.

- Да, я дерусь с бароном, - отвечал Владислав. - Я давно говорил вам; друзья мои, - продолжал он с улыбкою, - что лицо барона для меня нестерпимо, что я в мире не видал ничего отвратительнее. При первой встрече с ним какой-то злой гений шепнул мне, что он будет врагом моим, и предчувствие сбылось.

- Сбылось! - возразил Любомиров. - Трудно сбываться таким предчувствиям! Ты посадил себе в голову, что тебе надобно быть в ссоре с бароном, на каждом шагу стерег его и наконец нашел случай придраться. Есть чему удивиться. Есть где искать шепота злого гения! И что могло тебе досаждать в этом бароне? Он всегда был с тобою учтив и даже ласков...

- Эта учтивость, эта ласка были мне противнее всего на свете. Вчера еще он подошел ко мне, с холодной улыбкой взял меня за руку и стал спрашивать о здоровье. Поверь, голос его заставил меня содрогнуться, как пронзительный визг стекла.

- Как тебе не стыдно! - возразил Любомиров. - С твоим здравым смыслом ты питаешь такие мелкие предрассудки. Послушай, Владислав. Нас здесь только трое, и мы можем говорить искренно.

Я, вероятно, угадал тайную причину твоей ненависти и могу доказать, как она ничтожна. Но что я скажу, любезный Лейхен, то будет сказано между нами. Барон шутит, смеется с сестрой моей, и подлинно она еще ребенок, а ты, Владислав...

- Ни слова! - закричал юноша, вскочив с кресел. - Зачем терять время и речи. Все, что мы до сих пор говорили, не объясняет Францу нашего дела, а он до сих пор еще не успел опомниться.

Расскажи ему все, что случилось сегодня между бароном и мною, и я уверен, что он не откажет просьбе друга. А мне и так уже надоело говорить об одном и том же; притом не забудьте, что к завтрашнему утру надобно еще выспаться. - При сих словах Владислав пожал обоим друзьям руки, вышел в другую комнату, бросил синюю ассигнацию на стол кондитера, надвинул шляпу на глаза, заку-

тался в плащ и вышел из лавки.

Ночь была свежа. Осенний ветер вздувал епанчу Владислава.

Он шел скоро и минут через пять был уже дома. Полусонный слуга внес к нему свечку и готовился раздевать барина, но Владислав отослал его под предлогом, что ему надобно писать. И подлинно, он взял лист почтовой бумаги и сел за стол. Долго макал перо в чернильницу, наконец капнул на лист, с досадою бросил его, вынул другой, раза два прошелся по комнате и сел опять на свое место.

Напрасно тер он лоб, напрасно подымал волосы - он не находил в голове мыслей, или, может быть, слишком много мыслей просилось вдруг на бумагу. Вдруг вынул он перо, опять капнул и остановился.

- Нет! Я не могу писать, - сказал сердито Владислав, вскочив со стула и бросившись на кровать во всем платье. На стуле возле его постели лежал какой-то том Шекспира. Владислав взял его, долго перевертывал листы, наконец положил опять книгу и потушил свечку.

- Вставай, - закричал поутру громкий го-

лос.

Владислав вскочил с постели, протирая глаза, и узнал молодого графа, который, стуча саблей, вошел к нему вместе с Лейхеном.

- Да ты и не ложился? - сказал Любомиров, набивая трубку табаку. - Или ты всю ночь готовился набожно к смерти?

Владислав не отвечал ни слова и продолжал одеваться.

Подвезли коляску; все трое молча уселись.

- Мы забыли пистолеты, - сказал торопливо Владислав, когда они несколько отъехали от дому. Любомиров указал ему на ящик, который стоял под ногами Лейхена, и кучеру велел ехать скорее.

(1826-1827)

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ

Владимир Паренский. Печатается по изданию: Веневитинов Д. В.

Стихотворения. Проза. М.: Наука, 1980.

С. 93. Венера Медицейская - мраморная статуя Венеры, находящаяся в галерее Уффици во Флоренции и являющаяся копией со статуи работы древнегреческого скульптора Праксителя (ок. 390 - ок. 330 до н. э.).

Лаокоон - по древнегреческим сказаниям, жрец Трои, наказанный богами за то, что он пытался противостоять их воле; боги наслали на него двух чудовищных змей, которые задушили Лаокоона и его сыновей; широко известна скульптурная группа I века до н. э., изображающая сцену гибели Лаокоона и его сыновей.

Омир - Гомер (между XII и VII вв. до н. э.) - легендарный древнегреческий поэт, которому, по преданию, принадлежит авторство эпических поэм "Илиада" и "Одиссея".

Петрарка Франческо (1304 - 1374) - итальянский поэт эпохи Возрождения, автор Лирических стихотворений, обращенных к его возлюбленной - Лауре.

С, 9.4. Сейм - название сословно-представительного парламента в феодальной Польше и некоторых других странах Восточной Европы.

С. 98. Синяя ассигнация - в России первой четверти XIX в. ассигнации достоинством в 5 рублей были синего цвета.

Епанча - верхняя одежда в виде плаща.